

Легко видеть, что вторая и третья части работы Маула содержат элементарные, общеизвестные вещи и, строго говоря, не относятся к проблеме, поставленной в заголовке статьи. Тот известный факт, что Византия состояла из разнородных географических элементов, одни из которых были центральными, а другие периферийными, ни на шаг не приближает нас к пониманию воздействия географических факторов на особенности экономики, политического строя или внешней политики Византийской империи. Таким образом, о географических факторах Маул говорит по существу лишь в первой части статьи, сужая это понятие до структуры государственных границ. Плодородие почвы, речная система, распределение полезных ископаемых, направление торговых путей — разве все эти факторы, даже не упомянутые немецким географом, не оказывали своего влияния на византийскую историю? По-видимому, длительная борьба за Армению была связана с богатством этой страны металлом, а не только с особенностями ее географического положения.

Вопрос о влиянии природной среды на социальное развитие Маул затрагивает лишь однажды, но и то его тезис весьма спорен. Он высказывает мысль, что изрезанные горные районы Малой Азии были благоприятными для развития крупного землевладения с его сепаратистскими тенденциями (стр. 16). Сколь ни правдоподобна эта мысль, она вызывает два возражения: во-первых, Малая Азия — при всей природной изолированности отдельных ее частей — на протяжении столетий являлась оплотом централизованной Византийской империи, ее *vitales Reichsgebiet*, если пользоваться словами самого Маула. Во-вторых, когда развитие феодализма становится особенно заметным, в XI в., средоточием феодального землевладения оказываются не горные долины, а широкие просторы плодородной Фракии.

Маул практически оперирует единым, вневременным понятием Византии, не предлагая периодизации ее истории. Отсутствие периодизации в его статье особенно досадно потому, что различие позднеантичной Восточной Римской империи и средневековой Византии отчетливо обнаруживается в их географической структуре. В историко-географическом плане мы могли бы говорить о двух совершенно различных государствах, и те «средиземноморские» особенности, которые Маул выдвигает в начале статьи (морские связи и растянутость границ), относятся, собственно говоря, лишь к Восточной Римской империи. Да, Юстинианова Византия была средиземноморским государством, но уже в VIII в. мы ничего подобного не видим: Византия при Исаврах или Македонской династии обладает сравнительно короткой пограничной линией (относительно ее территории) и во всяком случае не базирует своей мощи на морском господстве.

Некоторые формулировки Маула представляются чуть ли не мистико-телеологическими; таково, например, его представление о роли Италии как «противовеса» Константинополю. Думается, что политическая борьба норманнов или анжуйцев против Византии обуславливалась конкретной расстановкой политических сил, а не географической (т. е. вечной) позицией Апеннинского полуострова.

Маул поднял большую и очень важную проблему, но не решил ее. Здесь сказано и недостаточное знание фактического материала, и влияние геополитических концепций, заслонивших структурой границ действительные географические факторы. К поднятой Маулом проблеме следует еще вернуться. При этом необходимо четко разграничивать, что в византийской истории определяется влиянием географических факторов, а что складывалось исторически, независимо и иногда вопреки географическим условиям. Повторю еще раз, что географические условия Византии сами по себе никак не могли бы содействовать формированию здесь относительно централизованного государства, однако Византия была именно такой империей.

А. К.

Н. EVERT-KAPPESOWA. STUDIA NAD HISTORIA WSI BIZANTYŃSKIEJ W VII—IX WIEKU.

Łódź, 1963, s. 120

Книга польской византистки Г. Эверт-Каппесовой называется «Исследования по истории византийской деревни VII—IX вв.». Она посвящена, следовательно, тому же периоду, что и вышедшая в 1961 г. монография Е. Э. Липшиц¹. К сожалению, Эверт-Каппесова не успела использовать этот труд, хотя сопоставление собственных взглядов с концепцией Липшиц, несомненно, помогло бы ей во многих случаях точнее и четче поставить проблему.

Работа состоит из введения и трех глав. Заключение нет — его роль в какой-то мере выполняет французское резюме (стр. 109—114).

¹ Е. Э. Л и п ш и ц. Очерки истории византийского общества и культуры. VIII—первая половина IX в. М.—Л., 1961.

Во введении автор прежде всего обосновывает хронологические рамки своего исследования. Исследование посвящено переходному периоду в истории Византии. VII столетие представляется мне более удачной вехой его начала, нежели предложенная Липшиц грань — конец V в. Правда, Эверт-Каппесова аргументирует свою мысль одними только внешнеполитическими явлениями, ибо фразу: «Сильное внутреннее потрясение, каким было иконоборчество, Византия пережила в VII в.» (стр. 9), надо признать *larsus salami*. Напротив, предложенный Липшиц конец периода — середина IX в., — на мой взгляд, лучше отвечает действительности. Недаром Эверт-Каппесова на стр. 101 оттягивает переходный момент до «первой новеллы Романа Лакапина», т. е. до первой половины X в.², а на стр. 88 утверждение новых отношений относит даже к середине XI в.

Весьма существенны, на мой взгляд, замечания Эверт-Каппесовой во введении о разнохарактерности географических районов империи. Думаю даже, что природные условия в Византии были еще более многообразными и что, к примеру, в Малой Азии можно выделить не только две (стр. 11) географические зоны³.

I глава называется «Крупная и мелкая собственность в Египте» (стр. 17—45) и, строго говоря, выпадает из хронологических рамок избранной темы: как автор ни старается говорить о Египте VII в., он неминуемо возвращается к более раннему времени, например к постановлениям Юстиниана (стр. 22, 23, 32, 33). Но и Египет начала VII в. — до арабского завоевания — по сути дела сохранял старые отношения, существовавшие здесь в эпоху поздней Римской империи; поэтому привлечение египетского материала для характеристики византийской деревни VII—IX вв. вряд ли целесообразно. Наконец, если уж привлекать египетский материал в книге, посвященной VII—IX столетиям, то следовало бы уделить специальное внимание публикациям поздних папирусов⁴.

Можно было бы рассматривать I главу как вводную, но и подобный подход вызывает известные возражения. Эверт-Каппесова совершенно справедливо подчеркивает природные и экономическое своеобразие отдельных районов империи; почему бы в таком случае не взять для вводной главы материал, относящийся к Малой Азии и Балканам, а не к области, потерянной Византией около 640 г., в самом начале изучаемого периода?

Центральная глава исследования посвящена славянской колонизации и ее влиянию на византийскую деревню (стр. 46—73). Славянскую колонизацию Эверт-Каппесова датирует начиная с рубежа VI—VII вв. (стр. 46), тогда как Липшиц принимала более раннюю дату. Эверт-Каппесова подчеркивает неравномерность распространения славян на Балканах (стр. 52) и относительно быструю их эллинизацию (стр. 53 и сл.).

Вряд ли, впрочем, ассимиляция славян на Балканах была столь быстрой: еще до XIII в. в горах Тайгета сохранялись независимые славянские поселения, обязанные лишь военной службой. Византия вообще не проводила политики ассимиляции — расселявшиеся на территории империи армяне и грузины, сельджуки и печенеги сохраняли этническое своеобразие. Во всяком случае до конца исследуемого периода на Балканах целые области были славянскими.

Независимо от В. Тыпковой-Займовой⁵ польская исследовательница пришла к тому же выводу: славянские вторжения наносили урон не только крупному, но и мелкому землевладению (стр. 58). Тезис этот может быть принят лишь с известным ограничением: конечно, ряд деревень пострадал от славянских вторжений, но само расселение масс славян приводило в конечном счете к упрочению мелкого свободного землевладения. К тому же Эверт-Каппесова подчас преувеличивает масштабы бедствий, вызванных славянскими вторжениями; так, запустение Пароса в IX в., о чем рассказывается в Житии Феоктисты Лесбосской (стр. 57), связано не со славянскими, а с арабскими набегами.

Да и сам автор признает, что славянская колонизация привела к существенным социальным сдвигам. Хотя Земледельческий закон, справедливо полагает Эверт-Каппесова, и не предназначался специально для славян, расселенных на территории империи, он отражал те общественные перемены, которые произошли в VII—VIII вв. под влиянием их вторжений (стр. 69).

Вторая половина этой главы содержит тщательный анализ данных Земледельческого закона. Эверт-Каппесова описывает природную среду, к которой относится

² Исследовательница датирует ее по традиции 922 г. (ср. еще стр. 73), не учитывая критических замечаний Лемерля.

³ См. об этом также А. П. К а ж д а н, Г. Г. Л и т а в р и н. Очерки истории Византии и южных славян. М., 1958, стр. 51—56.

⁴ Например, R. R e m o n d o n. Papyrus grecs d'Apollonôis Anô. Le Caire, 1953, где собраны папирусы VIII в. Ср. еще H. H u n g e r. Grundsteuerliste aus Arsinoe in einem Papyruscodex des 7. Jh. «Forschungen und Fortschritte», 35, 1961.

⁵ V. T ä p k o v a - Z a i m o v a. Sur les rapports entre la population indigène des régions balkaniques et les «Barbares» au VI-e—VII-e siècle. «Byzantinobulgarica», I, 1962.

этот памятник, обращая внимание, в частности, на отсутствие значительных водных источников (закон не знает рыболовства) (стр. 59); исследовательница подчеркивает, что крестьяне Земледельческого закона свободны (стр. 61 и сл.) и что общественные порядки в законе отличны от условий законодательства Юстиниана (стр. 63). Очень интересна попытка наметить следы судебного самоуправления в деревне VIII в. (стр. 63 и сл.). Вопрос об общинной собственности (стр. 66 и сл.) рассмотрен весьма осторожно, но наличие периодических переделов отвергается со всей решительностью (стр. 70).

В заключении главы Эверт-Каппесова ставит вопрос о стратиготском землевладении (стр. 71 и сл.).

Последняя глава посвящена крупному землевладению VII—IX вв. Эверт-Каппесова более осторожна, чем Липшиц, в оценке успехов крупного землевладения тех столетий. Во всяком случае в книге не идет речь о владениях с тысячами зависимых людей. Земли крупных собственников, по мнению автора, обрабатывались либо рабами, либо свободными арендаторами; колонов мы не встречаем в наших источниках (стр. 114). Известное пожалование соляных промыслов солунскому храму св. Димитрия Эверт-Каппесова — в отличие от Липшиц — не рассматривает как иммунитет (стр. 92 и сл.) и вообще развитие феодальных порядков относит лишь к первой половине X в. (стр. 102).

Конечно, самый факт существования крупных владений в VII—IX вв. — будем ли мы считать их «предфеодальными» вотчинами или уже феодальными (как Липшиц) — не вызывает сомнений. Мне думается, однако, что размеры этих вотчин Эверт-Каппесова несколько преувеличивает. Основной источник ее расчетов — Житие Филарета⁶. Можем ли мы принимать как бесспорные цифры агриграфического памятника? Эверт-Каппесова приходит к выводу, что принадлежавшая Филарету пашня составляла 600 га (стр. 77); но если учесть, что все его земли находились в пределах одной деревни (αἰὼν) Амния, где были также другие владельцы («династы» и свободные крестьяне), эта цифра окажется весьма сомнительной.

Для сравнения приведу некоторые более поздние данные. К 1321 г. Меникейскому монастырю принадлежало около 4 тыс. модиев пашни⁷, т. е. около 350 га — во м н о г и х деревнях в округе Серр. Крупные владения самых богатых афонских монастырей XIV в. в одной деревне исчислялись обычно в тысячу, полторы, редко 3 тыс. модиев. Да и самая цифра эта — 600 га — получена в результате вполне произвольных расчетов количества земли, приходящейся на 1 упряжку волов. Допустим даже, что цифры жития достоверны и у Филарета действительно было 48—50 простатий. Но размеры византийских простатиев обычно невелики: известный простатий Сфурн Лемвийского монастыря XIII в. составлял всего 10 модиев. Удвоив эту цифру, мы получим иной размер владений Филарета — около 1000 модиев, т. е. 80 га.

Но, скорее всего, в жизни речь идет не о принадлежащих Филарету поместьях (50 поместий в пределах одной деревни!), а о пахотных наделах. Известно, что в более позднее время даже крестьянские участки распадалась на десятки наделов, лежавших в разных концах территории деревни. Эти-то крестьянские наделы («мансы») щедрый агриграф превращает в простатии — поместья (напомню еще, что Филарет был сыном крестьянина и сам умел ходить за плугом).

И размер стад Филарета, видимо, преувеличен агриграфом: 12 тыс. овец, 600 быков, 800 лошадей⁸ — такие стада, сопоставимые разве что с богатствами Кантакузина, не могли быть вскормлены в о д н о й византийской деревне, где нехватка лугов оставалась постоянным бичом. Для сравнения укажу, что в конце XI в. Ксенофонову монастырю принадлежало всего 28 быков, 300 лошадей, 2 тыс. голов мелкого рогатого скота⁹.

Житие Филарета — сказка на мотивы Золушки, и нет ничего удивительного в том, что агриграф оперирует сказочными цифрами (например, на 40 мулах присылает хлеб обедневшему Филарету добросердечный форолог).

Изучение аграрных отношений VII—IX вв. крайне трудно. Скудость источников приводит к тому, что коренные проблемы оказываются спорными. Продолжается даже спор о самом наличии в деревне тех лет зависимого крестьянства. Убедительно решить эти проблемы пока не удается. Книга Эверт-Каппесовой содержит ряд интересных наблюдений, основанных на всестороннем рассмотрении источников; автор полемизирует со многими традиционными, но не всегда обоснованными суждениями. И пусть ее

⁶ См. также H. E v e r t - K a p p e s o w a. Une grande propriété foncière du VIII-e siècle a Byzance. BS, 24, 1963; e a d e m. Historie konstantynopolitańskie. Warszawa, 1964, str. 73—88.

⁷ A. G u i l l o u. Les archives de S. Jean-Prodrôme sur le Mont Ménécée. Paris, 1955, № 4, 9, 10.

⁸ «Ces chiffres doivent être fort exagéré», — говорит автор в цитированной выше статье (стр. 34), но все же пользуется ими.

⁹ L. P e t i t. Actes de Xénophon. BV, X, 1903. Приложение, № 1. 225.

собственные выводы иной раз не кажутся достаточно убедительными, — польская византистка умеет обнаружить новые аспекты исследования, новый подход к источнику, сохраняя при этом, как правило, необходимую осторожность.

А. К.

**D. M. METCALF. THE SLAVONIC THREAT TO GREECE CIRCA 580:
SOME EVIDENCE FROM ATHENS.**¹

„Hesperia“, XXXI, 1962, p. 134—157.

**D. M. METCALF. THE AEGEAN COASTLANDS UNDER THREAT:
SOME COINS AND COIN HOARDS FROM THE REIGN OF HERACLIUS.**

„The Annual of the British School at Athens“, 57, 1962, p. 14—23

Вопрос о возможности использовать нумизматические данные для изучения истории средневековья активно обсуждается в последние годы, и многие исследователи, ссылаясь на неполноту и случайность монетных находок, отказывают монете в праве быть источником по средневековой экономике¹. Спору нет, монетные находки и неполны, и случайны, — однако вряд ли более случайны и неполны, чем известия средневековых письменных памятников. Мы не можем быть гарантированы от ошибок, опираясь на нумизматический материал, не можем быть уверены, что дальнейшие находки не заставят пересмотреть прежние выводы, но разве выводы, построенные на хрониках или надписях, оказываются принципиально более устойчивыми? Напротив, нумизматика дает исследователю в руки большие цифры, по теории вероятности в какой-то мере элиминирующие возможность грубых просчетов. Разумеется, было бы рискованным строить заключения только на анализе монет, но проверенный и подкрепленный археологическими и письменными источниками язык монеты может оказаться весьма красноречивым.

Работы Д. Меткалфа, крупного английского нумизмата, весьма интересны в этом отношении. Они показывают, что может извлечь историк из монетных данных.

Статьи Меткалфа посвящены анализу двух групп памятников: монетных комплексов конца VI в. из Афин и кладов начала VII в. с островов и побережья Эгейского моря. Исследователь подробно описывает пять афинских монетных комплексов и приходит к выводу, что все они были зарыты около 582/3 г. („Hesperia“, p. 147). Некоторые из них были обнаружены в местах, носивших явные следы пожара (стр. 136), и это дает Меткалфу основание предполагать, что деньги были спрятаны или потеряны в связи с каким-то бедствием, обрушившимся на Афины. Поскольку Менаандр сообщает о набеге славян на Грецию в 578/9 г., а по свидетельству Иоанна Эфесского они оставались там и в начале 80-х годов, Меткалф склоняется к мысли, что нумизматически засвидетельствованное бедствие Афин было результатом славянского набега. Предположение это вполне вероятно, хотя и не может быть начисто исключена возможность иного объяснения (например, случайный большой пожар в городе).

Во второй статье английский нумизмат описывает ряд кладов из Сард и других центров в бассейне Эгейского моря и приходит к выводу, что массовое зарывание денег было связано с критическим моментом в жизни империи около 615 г., вызванным натиском славян и персов („Annual“, p. 16).

Мысль Меткалфа о том, что обострение внешнеполитической ситуации влечет за собой учащение случаев зарывания сокровищ, вполне естественна. Эту же мысль, кстати сказать, высказывала И. В. Соколова в статье, оставшейся Меткалфу неизвестной². Трудность, однако, заключается в том, что в средние века почти каждый год доставлял человеку опасности, вынуждавшие его зарывать свои сбережения. Обращаясь к эпохе, обследованной Меткалфом, мы можем поставить некоторые вопросы, кажущиеся мне непростыми. Почему, скажем, угроза в 615 г. была более серьезной, чем в 626 г., когда авары, славяне и персы осадили Константинополь? Почему афинские монетные комплексы датируются не ранее 582/3 г., тогда как набег славян на Элладу произошел, по Меткалфу, в 578/9 г.? (С этим набегом он отождествляет и поход, описанный Иоанном Эфесским, который А. П. Дьяконов датировал 581 г.)³

¹ См. особенно К. F. Morrison. Numismatics and Carolingian Trade: a Critique of the Evidence. „Speculum“, XXXVIII, 1963, № 3. Применительно к византийской нумизматике те же мысли развивал С. Врионис: S. Vryonis. An Attic Hoard of Byzantine Gold Coins (668—741). ЗРВИ, VIII/4, 1963.

² И. В. Соколова. Клады византийских монет как источник для истории Византии VIII—XI вв. ВВ, XV, 1959, стр. 55.

³ А. П. Дьяконов. Известия Иоанна Эфесского и сирийских хроник о славянах VI—VII вв. ВДИ, 1946, № 1, стр. 32 и сл.